

Первые шаги

С этого момента начинается новая история Махно. Революция давала ему шанс – выжить, выдвинуться, самоутвердиться. На авансцену политической жизни выходили вчерашние изгои империи, чтобы явить массам искус политического радикализма, немедленного, здесь и теперь, осуществления права всех на всё.

О событиях того времени мы также можем судить по мемуарам Махно. Он стал писать их уже в Париже, надеясь, вероятно, хоть на бумаге сквитаться со своими старыми врагами. В то время так поступали многие, но Махно это не удалось. Его погубила кропотливость, желание до мельчайших подробностей припомнить этапы своего боевого пути: вышло три книги, местами написанные совершенно чудовищным, лозунговым языком политика-самоучки. Как на грех, они обрываются ноябрем 1918 года, когда, собственно, и начался самый интересный период махновщины.

Впрочем, до мемуаров было далеко. Пока что выпущенный из тюрьмы арестант возвращался домой. Двадцати восьми лет, не имея за душой ни гроша, ни толковой профессии, – ничего, кроме девяти лет холодного тюремного бешенства, сделавшего его фанатиком анархии, – Махно, вероятно, в иное время в глазах односельчан выглядел бы полным неудачником. Но времена изменились, и он, как «свой» политкаторжанин, сразу попал в центр внимания. В Гуляй-Поле в ту пору царил обычная для всякого переходного времени неразбериха. Старая власть рухнула, новая еще не успела организовать. Руководить пытался какой-то «общественный комитет» (в названиях тоже не было определенности), во главе которого стоял почему-то прапорщик расквартированной в селе пулеметной команды. Политические симпатии гуляйпольцев были смутными, но склонялись вроде бы к эсерам, которые создали в селе отделение Крестьянского союза, придуманного для того, чтобы, когда придет время, способствовать переделу земли. Местная анархистская группа пользовалась, судя по всему, популярностью весьма ограниченной. Ей явно не хватало вождя, который объяснил бы крестьянам задачу момента, да и вообще мог бы как-то сопрячь теорию с действительностью... К слову сказать, все они, молодые крестьянские парни, были еще детьми или, в лучшем случае, подростками, когда Махно уже сел в тюрьму «за революцию». К ним-то – весьма кстати – и явился Махно, сразу же завоевавший непререкаемый авторитет среди молодежи. Никто из его товарищей по дерзким экспроприациям 1906–1908 годов, кроме Назара Зуйченко (да и то на самых первых порах), никогда больше не всплыл в истории того, что позднее получило наименование «махновщины». Время унесло их навсегда. На их место пришли новые. Махно явился, чтобы возглавить молодых и вместе с ними построить другую жизнь. Нет, не хозяйство только – а жизнь целиком, переменив весь ее уклад, весь дух, все веками складывающиеся отношения в пользу трудящегося на земле крестьянина. Собственно дом, хозяйство, быт – все то, чего он столько лет был лишен, – по-видимому, совсем тогда не привлекали его. Он, правда, женится на крестьянской девушке, повинувшись воле матери, которая хотела, чтоб у младшего сына хотя бы после каторги все устроилось по-людски, да, видно, семейная жизнь занимала его мало: лишь пару раз

вспоминает он свою Настеньку в мемуарах, с какой-то излишней холодноватой вежливостью называя ее «подруга» и «моя милая подруга», будто речь идет вовсе не о жене.

Свадебная гульба, как рассказывают в Гуляй-Поле, продолжалась три дня: это было время беспечное, изобильное, время надежд самых радужных, время весны революции – которая и сама, возможно, представлялась как нескончаемое торжество трудового народа, праздник с горилкой и песнями. Кто из сидящих за столом думал тогда, что большинству собравшихся на пир уготована скорая смерть, что оскудеют столы, опустошатся амбары, что весь крестьянский мир и быт будет порушен, а чувство праздника сменит сплошная череда скорбей?

Могла ли мать Махно, Евдокия Матвеевна, предположить, что через год убьют двух ее старших сынов, с промежутком в год вслед за ними уйдут еще двое, а последний – сидящий пока во главе свадебного стола – будет объявлен злейшим врагом трудового народа и тоже сгинет, потеряется в мире, умрет в ужасающей нищете? Она долго не знала, где он, жив ли. Потом выяснилось, что вроде жив. А в 1928 году Махно прислал родственникам в Гуляй-Поле фотографию из Парижа: сидит за столиком с витыми ножками, смышлено что-то пишет. Положительный такой, в костюме, в галстуке. Рядом оперлась руками на стол девочка – дочь Леночка. По-французски – Люси. После этого случая журнал «Огонек» опубликовал даже заметку «Махно в Париже», поместив открытку в качестве иллюстрации. Заметка была, в общем, незлая – еще не иссякло время поверхностного бухаринского прекраснотушия, – так что выходило, что Махно, в общем-то, примирился и раскаялся. Писатель Лев Никулин, который встретил знаменитого анархиста в Париже, заканчивал свою заметку словами: «Как ни странно, он мечтал о возвращении на родину...»

Да, он мечтал. Но между этими двумя моментами – временем, когда он вернулся на родину, и временем, когда он страстно захотел вернуться туда, вновь обрести ее, навеки утраченную, – пролегла пропасть. Все изменится. Исчезнут люди. Война изменит облик земли. Придя в движение, история сомнет и перемешает все. Все станет неузнаваемым, невозвратным. Иногда я думаю о том, сколько людей уже в 1919-м, не говоря уже о 1920 или 1921 годах, было бы радо, если бы Бог сотворил чудо и вернул все на свои места, сделал, как было. Но так не бывает. Прекраснотушные порывы 1917 года сменились беспощадной борьбой четырех последующих лет. Юноша, заигравшийся в революцию и заплативший за это девятью годами тюрьмы, был безжалостно пленен правилами игры и стал грозным партизанским вождем, потом знаменитым, государственного размера, бандитом для того, чтобы спустя еще несколько лет, гуляя по Венсеннскому лесу с молодой анархисткой Идой Метт, поведать ей о своей мечте.

Нам надо обязательно вчитаться в это свидетельство, чтобы понять, как трагичен Махно, чтобы понять, за что он боролся и к чему так никогда и не пришел. Он видел себя крестьянином. Он воображал себя молодым. Он представлял себя возвращающимся в родное Гуляй-Поле, вечером, после дня, удачно проведенного на ярмарке с молодой женой, где они вместе продавали выращенные ими плоды... Они купили в городе подарков... У него добрая лошадь и хорошая упряжь...

Ничему этому не суждено было сбыться. Может быть, гуляя в Венсенском лесу, Махно вспоминал и первую жену свою, нежную красавицу Настю Васецкую. Может быть, именно она представлялась ему тогда сидящей рядом с ним на крестьянских дорогах спокойной спутницей его тихого семейного счастья... Но в 1917 году такое счастье не устраивало его, казалось слишком приземленным. Он почти не бывал дома, все сновал по митингам и комитетам, а потом, когда время забурлило, забилося, как вода в теснине, он попросту потерял жену свою во времени: оставил ее в Царицыне и уехал в Москву, чтобы уже не вернуться к ней. Когда они расставались, она была уже давно беременна и вскорости родила, но мальчик, Саша, появился на свет с каким-то врожденным уродством и быстро умер. А Настя прожила долго. Как и у всех, опаленных близостью к Махно, судьба ее сложилась не сладко. В конце концов она устроилась, вышла замуж за бобыля, растила ему четверых детей. Старухой уже продавала семечки на станции Гуляй-Поле. По мудрой простоте души зла на бывшего мужа своего она не держала, понимая, должно быть, что не судьба была ей быть с ним, – уж больно неугомонен был, больно хотел осчастливить человечество...

Ему суждена была другая женщина, способная к войне и борьбе. Ею стала учительница гуляйпольской двухклассной школы Галина (по паспорту Агафья) Андреевна Кузьменко. Несомненно, была она натурой куда более романтической, чем Настя. Ко времени знакомства с Махно успела закончить шесть классов, уйти из родительского дома в послушницы Красногорского женского монастыря, сбежать из монастыря с бароном Корфом в его имение под Умань, быть проклятой бароной родней и в конце концов преданной своим женихом, вновь вернуться в монастырь, быть, во избежание скандала, изгнанной оттуда, закончить с отличием женскую семинарию в Добровеличковке и, наконец, стать учительницей в Гуляй-Поле. В ней не было покоя, зато были неутоленная страсть и порох для взрыва – именно такая женщина нужна в годы борьбы. Потом, когда война закончилась, отношения ее с Махно разладились, и, хотя она родила ему дочь, собственно семьи так и не сложилось. Они то расходились, то сходились вновь, у нее бывали романы; Ида Метт,[7] близко знавшая Махно в Париже, вспоминала, что на людях жена часто была резка с ним, так что со стороны казалось даже, что она вряд ли когда-либо любила его и оказалась с ним рядом лишь потому, что ей льстило быть женою самого могущественного атамана Украины.

Он же, как ни странно, был ей верным мужем. Вообще, как ни странно покажется это после всех слухов, окружающих имя Махно, он был человеком патриархально-аскетичным, хотя в пору своей славы мог бы позволить себе любые излишества любви. Он нежно любил дочь, и, если в запальчивости ему случалось отшлепать ее, он ощущал себя больным весь день – такое даже трудно предположить в человеке, пожелавшем вступить в единоборство с Историей в тот момент, когда она требует от человека злодейства и не отпускает до тех пор, пока не выбьет из него прекраснодушную веру в то, что ничтожеству отдельного человека подвластны ее неумолимые стихии...

Впрочем, до разгула стихий было еще очень далеко: пока дул лишь легкий освежающий ветерок, колыхавший скатерть свадебного стола, за которым сидели пятеро братьев Махно, живые, веселые, хмельные. И казалось им, что и вправду быть им хозяевами жизни, и, может статься, прав младшенький, сидящий подле невесты, – главное зараз не сробеть и взять свое...

Свою общепользную деятельность Нестор Махно начал с того, что на крестьянском сходе объявил незаконным то, что власть в селе представляет чужой, пришлый, никому не подотчетный человек – пулеметный прапорщик. Прапорщика сместили, общественный комитет разогнали.

Махно обнажил саму суть анархической идеи: все устроить своим умом и никаким чуждым народу обязательствам не подчиняться, соблюдая свою пользу. Эта идея чрезвычайно понравилась его односельчанам. И когда через некоторое время из Александровска прибыли в Гуляй-Поле инструкторы агитировать за войну и Учредительное собрание, крестьяне отказались голосовать за предложенные им резолюции, «заявив ораторам, что они... находятся в периоде организации своих трудовых сил и поэтому никаких резолюций извне не могут принимать» (51, 20).

Гуляй-Поле всегда было тихой глубинкою – кто бы мог предположить, что здесь самая крамола и заведется, что отсюда и из таких же чистых, опрятных сел взметнется, как джигин, огонь войны?

Хоть крестьянский союз был и эсеровский, Махно избрали председателем комитета союза в Гуляй-Поле: он ездит по волости, организует отделения в деревнях, агитирует. За что агитирует? Да вот, «уясняет» трудовому крестьянству первостепенную задачу: захват земли и самоуправление «без какой бы то ни было опеки» (51, 25). Втолковывает, то есть что ни Учредительного собрания, ни законов ждать не надо – надо брать землю, пока плохо лежит и власть слаба.

Не сразу себе это «уяснили» крестьяне, но за несколько месяцев идея, в целом, возобладала. Массы, разохоченные обещаниями даровой земли, уважали гуляйпольского каторжанина за крутость и смелость суждений. Вскоре при перевыборах «общественного комитета» Махно был избран туда руководителем земельного отдела. И этой должностью он умело воспользовался, обревизовав все земли помещиков и кулаков.

В начале лета на предприятиях Гуляй-Поля был введен рабочий контроль. В июне «крестьяне Гуляйпольского района отказались платить вторую часть арендной платы помещикам и кулакам за землю, надеясь (после сбора хлебов) отобрать ее у них совсем без всяких разговоров с ними и с властью...» (51, 44). Внятно, явственно уже тянуло паленым; вот хлеб убирать, а там:

“ Дело Стеньки с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все поместья богачевы
разметем пожарчиком...”

Впрочем, спешки не было. К захвату земель еще надо было подготовиться – вооружиться, например. Пока же устраивали сходы и митинги, своеобразные смотры настроений и сил. После расстрела в июле 1917-го рабочей демонстрации в Петрограде один из митингов выпалил такой резолюцией: «Мы, крестьяне и рабочие Гуляй-Поля, этого правительственного злодеяния не забудем... Пока же шлем ему, а заодно и Киевскому

правительству – в лице Центральной Рады и ее Секретариата – смерть и проклятие, как злейшим врагам нашей свободы...» (51, 47).

Популярность Махно росла. Он одновременно выбран был односельчанами сразу на пять должностей: председателем крестьянского союза, председателем профсоюза рабочих-металлистов и деревообделочников, главой районного земельного комитета, районным комиссаром милиции и даже председателем организованной в селе больничной кассы. Везде избранный «председателем» Махно, естественно, физически не мог справиться со всей массой свалившихся на него дел. Как все успеть? Да и вообще, нужно ли анархисту быть главным во всяком деле? Он чувствовал себя неуверенно. Он шлет «наивную» (по его же собственному выражению) телеграмму известному анархисту Аполлону Карелину – принимать ли ему, стороннику безвластия, такие должности? От имени анархистской группы он составляет приветственное письмо П. А. Кропоткину по случаю его возвращения в Россию и ждет конкретных указаний – как завладеть землей без власти над собою и выжить паразитов? Но ответа нет. Приехав в начале августа в Екатеринослав на губернский съезд Советов, он первым делом мчится посоветоваться в федерацию анархистов – но и тут никто не может удовлетворить его практическое любопытство.

Федерация анархистов Екатеринослава вместе с губернским комитетом большевиков размещалась в здании бывшего английского клуба. Картина, которую увидел Махно, удручила его. «Там я застал много товарищей. Одни спорили о революции, другие читали, третьи ели. Словом, застал „анархическое“ общество, которое по традиции не признавало никакой власти и порядка в своем общественном помещении, не учитывало никаких моментов для революционной пропаганды среди широких трудовых масс...

Тогда я спросил себя: для чего они отняли у буржуазии такое роскошное по обстановке и большое здание? Для чего оно им, когда здесь, среди этой кричащей толпы, нет никакого порядка даже в криках, которыми они разрешают ряд важнейших проблем революции, когда зал не подметен, во многих местах стулья опрокинуты, на большом столе, покрытом роскошным бархатом, валяются куски хлеба, головки селедок, обглоданные кости?» (51, 54–55). Горькое недоумение не раз посещало Махно при виде единомышленников, но он никогда не усомнился в «истинности» анархизма как политической доктрины.

Губернский съезд Советов в Екатеринославе, на котором Махно попал в земельную комиссию, вынес одно принципиальное решение: преобразовать созданные на местах крестьянские союзы в советы. Махно как председатель и стал первым заместителем новой советской власти в Гуляй-Поле.

Август закончился известием о неудавшемся походе генерала Корнилова на Петроград и созданием в Гуляй-Поле, по примеру столиц, комитета спасения революции на случай попытки контрреволюционного переворота. На митингах анархистская группа требовала разоружить всех помещиков и кулаков в районе, а также «немедленно отобрать у них землю и организовать по усадьбам свободные коммуны, по возможности с участием в этих коммунах самих помещиков и кулаков» (51, 70–71). Власти, наконец, встревожились. Уездный комиссар Временного правительства категорически требовал «удаления Н. Махно от всякой общественной деятельности в Гуляй-Поле» (51, 73). Но было уже поздно...

Наступил сентябрь. Сам Махно, возможно, еще колебался бы, раздумывая, как сподручнее осуществить аграрный переворот, но нагрянувшая накануне в Гуляй-Поле Маруся Никифорова требовала немедленных действий. Никифорова, позднее долгое время состоявшая при Махно на вторых ролях, в ту пору пользовалась куда более громкой известностью, чем он. Бывшая посудомойка водочного завода, убежденная анархистка, она была за террористические акты 1904–1905 годов приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывала в Петропавловской крепости. В 1910 году ее перевезли в Сибирь, и оттуда она, как когда-то Бакунин, через Японию бежала в Америку. В семнадцатом, подобно другим эмигрантам, вернулась на родину – ненавидящей и непримиренной.

Никифорова обрушила на Махно град упреков в постепенстве, соглашательстве и отходе от бунтарского правого дела:

– Надо прямым насилием над буржуазией разрушать устои буржуазной революции! (6, 194).

Маруся предложила разоружить часть Преображенского полка, стоящую неподалеку от Гуляй-Поля. Эпизод этот, вскользь упомянутый в воспоминаниях Махно, восполняется рассказом Назара Зуйченко: «Числа десятого сентября семнадцатого года, мы, 200 человек, выехали поездом в Орехово. Оружия, за исключением десяти винтовок и стольких же револьверов, взятых нами у милиции, у нас не было. На станции Орехово мы оцепили снабжение полка и в цейхгаузе нашли винтовки. Затем окружили в местечке штаб. Командир успел удрать, а низших офицеров Маруся собственноручно расстреляла. Солдаты сдавались без боя и охотно складывали винтовки, а после разъехались по домам. Маруся уехала в Александровск, а мы с оружием вернулись в Гуляй-Поле. Теперь было не страшно...» (6, 194–195).

Мрачное, смутное время простерлось над степями Украины. Власти еще издавали приказы, но их уже некому было выполнять. В местечках стояли еще гарнизоны, но солдаты отрекались от своих офицеров. То, что казалось крепким, рушилось, а то, что ютилось в темных углах, как плесень, мгновенно набиралось соками силы. Гуляйпольские привилегированные классы оказались понятливы: едва крестьянский съезд принял решение о переделе земли, как помещики разбежались, а промышленная буржуазия покорно заплатила контрибуцию. И только в Александровске все еще не понимали, что происходит. Уездный комиссар послал к Махно чиновника особых поручений, дабы пресечь исходящую из Гуляй-Поля крамолу и составить протоколы на тех, кто принимал участие в разоружении буржуазии. Наивный человек! Возможно, именно за эту наивность, которая делала несерьезными все его распоряжения, а может, из-за сходства фамилии (уездный комиссар прозывался Михно) Махно пощадил его, когда Александровск оказался в руках большевиков, а сам Махно работал в ревкоме кем-то вроде судебного эксперта, определяя, кого из «бывших» казнить, а кого миловать.

Чиновника же особых поручений Махно вызвал в Комитет защиты революции и велел ему «в 20 минут покинуть Гуляй-Поле и в два часа – пределы его революционной территории» (51, 92). С тех пор до самой немецкой оккупации никто не беспокоил этот странный, полностью независимый район.

Нам никогда доподлинно не узнать, что происходило в эти слепые предзимние месяцы там, где кончалась нетвердая власть городов, в которых еще держался привычный порядок. Даже старые газеты не могут рассеять густой мрак, покрывший деревню: вряд ли журналисты и выбирались туда в ту пору. Какие драмы разыгрывались под пологом осенней ночи? Как делили землю? Как распределяли инвентарь? Многих ли убили? Многих ли ошастливили?

Махно пишет, что «часть кулаков и немцев-хуторян, чувствуя момент, сдались сразу революции и занялись на общих основаниях, т. е. без батраков и без права сдавать землю в аренду, устройством своей общественной жизни» (51, 176). А что сделали с теми хозяевами, которые революции не «сдались»? Мы не знаем и лишь можем предполагать, памятуя о крутых нравах времени.

Когда махновщину называют «кулацким» движением, это неверно даже с классовой точки зрения. Собственно кулацкие хозяйства, хозяйства сельской буржуазии, были осенью 1917 года самими крестьянами разграблены так же, как и помещичьи имения. Осенью же 1918-го, когда кулаки, пытаясь вернуть отобранное, выступили в поддержку гетманского режима, держащегося на немецких штыках, огромное их число было физически уничтожено отрядами крестьян-повстанцев. Таким образом, наиболее продуктивные, обустроенные, специализированные хозяйства были разгромлены. Зато за их счет остальные получали как бы равные «стартовые возможности», которые, впрочем, могли обеспечить какой-никакой уровень производства хорошему хозяину. «Черный передел» между своими – до того, как в него вмешались большевики, послав в деревню изымать хлеб вооруженных и голодных людей, – в целом-то был делом внутренним, семейным. В запальчивости, конечно, могли кому-нибудь высадить дрыном глаз, но особенно не злодействовали. Всем вместе жить, все свои. Не китайцы, не венгры, которые пришли потом. Так что «раскулаченным» оставляли и плуг, и сеялку, и веялку, по две пары лошадей, по паре коров – жить можно было. А для большевиков, которые стали просачиваться в деревню и утверждать там свою власть где-то в начале 1919 года, все единоличники, все, кто не батраки, – одинаково были кулаками, что и привело потом к тяжелым последствиям.

...Незадолго до Октября в Гуляй-Поле пришла весть о том, что комиссар Михно, в отчаянной попытке спасти уезд от анархии, арестовал в Александровске Марусю Никифорову. Махно дозвонился до него по телефону, недвусмысленно предупредил: «Если не освободишь немедленно, то знай, что в эту же ночь запалим твое имение!» (6, 195).

Михно имел мужество отказаться. Но и Махно не собирался идти на попятный. Для вызволения Маруси был сформирован из молодежи отряд человек в 60, который двинулся на Александровск. Однако на этот раз до города махновцы так и не добрались. В Пологах, едва погрузились в поезд, начальник станции показал ошеломляющую телеграмму: в Петрограде свергнуто Временное правительство! На радостях решено было вернуться домой. И хотя эта вылазка закончилась ничем, она сама по себе очень симптоматична: Махно становилось тесно в Гуляй-Поле, он натачивал зубок на Александровск, а там и на другие соседние города...

Октябрьские события докатились до Украины в ноябре-декабре. Правда, в Гуляй-Поле никаких существенных изменений не произошло: власть тут и без того была советская, земля крестьянская, и все это сделалось без большевиков и их громогласных деклараций. Вообще большевики на Украине были много слабее, чем в России, оттого и уступчивей. Пытаясь захватить власть, они активно блокировались с левыми эсерами и анархистами, которые распоряжались несколькими бестолковыми, но вооруженными с головы до ног отрядами «черной гвардии». С севера еще просачивались в подмогу им эшелоны с революционными матросами, которые, позабыв мирную жизнь и исполнившись к ней скучливого презрения, мотались на поездах по всей стране и ставили новую власть силою штыков и невероятной морской ругани. Но и старая власть не сдавала полномочий: на Правобережье, на Киевщине, Центральная рада держалась довольно крепко, на ненадежном же левом берегу воцарился полнейший хаос. Несколько властей сосуществовали и правили параллельно, но только большевики сохраняли самообладание, прежде всего начиная создавать подпольные военизированные гнезда – ревкомы, из которых должно было со временем вылупиться их политическое господство.

Махно не хотелось оставаться в стороне от этих событий. В начале декабря он едет в Екатеринослав делегатом на очередной губернский съезд Советов. Екатеринослав трясло. Здесь, пишет Махно, «была власть, еще крепко хватавшаяся за Керенского, власть украинцев, хватавшаяся за Центральную Раду... здесь была и власть каких-то нейтральных граждан, а также своеобразная власть матросов, прибывших несколькими эшелонами из Кронштадта; матросов, которые держали направление против ген. Каледина, но по пути свернули в Екатеринослав на отдых. Наконец, власть Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов, во главе которого в это время стоял анархист-синдикалист тов. Гринбаум...» (51, 104). Все эти власти претендовали на руководство и, по выражению Махно, «злоствовали друг на друга и дрались между собой, втягивая в драку тружеников» (51,100). Махно это очень раздражало. Раздражала и борьба вокруг выборов в Учредительное собрание: Махно называл ее «картежной игрой политических партий» и, по возвращении в Гуляй-Поле, убеждал членов анархистской группы отказаться от поддержки на выборах эсеров и большевиков, ибо после увиденного никому уже не желает оказывать содействия. Не удовлетворил его и съезд Советов. «Характерно в этом съезде, что все, что он постановил в своих резолюциях, у нас в Гуляйпольском районе за 3–4 месяца до того было проведено в жизнь» (51,106). Единственная удача – несколько ящиков винтовок, полученных от федерации анархистов, которая, в свою очередь, получила их от большевиков, вооружавших всех, кто мог помочь им против Украинской рады.

Вернувшись в Гуляй-Поле, Махно, однако, недолго оставался на месте. В последних числах декабря он с довольно большим отрядом появляется в Александровске. Сам Махно пишет, что выступление было вызвано известием о том, что войска Центральной рады заняли Кичкасский мост через Днепр, чтобы пропустить на Дон к Каледину несколько снявшихся с германского фронта эшелонов с казаками. Получив эту весть, Гуляйпольский совет заседал чуть не целый день и в конце концов решил выступить на стороне большевиков вместе с красногвардейским отрядом некоего Богданова, который пытался отбить мост и задержать эшелоны.

Эти обстоятельства проливают свет на совершенно темную для современного читателя подробность романа «Тихий Дон», когда Мелехов, возвращаясь с фронта, из теплушки наблюдает бой украинцев с анархистами: «украинцы», как становится понятно, – это войска Центральной рады, «анархисты» же – отряд вроде махновского или «черной гвардии» Маруси Никифоровой. Характерно, что Махно однозначно определяет намерения казаков – двигаться не просто на Дон, но непременно к Каледину, – повторяя тем самым один из самых расхожих революционных мифов о коренной, глубинной контрреволюционности казачества. И действительно, с казаками революционеры хоть и заигрывали, но в целом отношение к ним было настолько унижительно-подозрительным, что уже по этому одному не могло разрешиться миром. Верхнедонское восстание – по духу отчасти напомиравшее махновщину, но, как и всякое незрелое народное движение, оказавшееся под чужими, в данном случае белыми, знаменами, – вспыхнуло зимой 1919 года никак не из-за того, что казачество не приняло революционных преобразований. Оно их ждало, но не дождалось. Власть Советов утверждала себя нахраписто – путем интриг и демагогии, силы и грубой лести, совсем не считаясь с чаяниями и нуждами населения донских станиц. После восстания партийная пресса больше не сдерживалась и поливала казаков с разнузданной и трусливой яростью исчерпавшего аргументы пропагандиста. «Стомилионный российский пролетариат не имеет никакого морального права применить к Дону великодушие, – металлическим тоном военного приказа требовали харьковские „Известия“ (№ 16, 8 февраля 1919 г.). – Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. „Всепотрясающие“ и всевеликие конные казачьи полчища должны быть ликвидированы. Казачество необходимо обезлошадить... Реакционное брюхо Дона должно быть вскрыто...»

Выступая против казаков, гуляйпольцы еще не знали, что и сами, только в иных выражениях, будут новой властью прокляты и без пощады усмирены и что летом 1921-го, ища спасения от преследователей, Махно с последней надеждой кинется в становище «врагов», в сторону Кубани и Дона – но никто уже на этой выжженной земле не отзовется ему.

Отряду Богданова и гуляйпольцам удалось захватить Кичкасский мост, и 7 января 1918 года здесь начались переговоры с казаками. Казаки сдавать оружие отказались, заявив, что их 18 эшелонов и сил пробиться у них хватит. Ночью случился бой, который при желании может быть истолкован в героическом для революционных сил плане, но на самом деле, конечно, он был решен неохотой казаков получить случайную пулю по дороге домой. На следующий день они согласились сдать винтовки и проходить лишь с седлами и лошадьми. Самое удивительное, что разоружение фронтовиков, для которых за несколько лет война стала второй профессией, произвел отряд, в котором, начиная с командира, никто не знал толком, как обращаться с оружием. Правда, вид у черногвардейцев «был страшен и суров: пулеметные ленты с патронами на плечах, за поясами торчало по два револьвера, из голенища выглядывали чеченские кинжалы... Но толку было мало. Никто не обучен. Все, знающие военное дело, бросив фронт, сидели по домам» (6, 196–197). Тем не менее бойцы отряда чувствовали себя хозяевами положения. Офицеров, которые не хотели срывать погоны и сдавать револьверы, без особой злобы бросали с моста в Днепр... Казаки простояли в Александровске еще пять дней, подвергаясь усиленной обработке большевистских и лево-эсеровских агитаторов, обещавших Дону широчайшую автономию, потом, оставив на улицах кучи конского навоза, ушли. В знак возвращения к нормальной

жизни ревком наложил на городскую буржуазию контрибуцию в 18 миллионов рублей.

Читателю будет, может быть, странно узнать, что к героическим этим событиям Нестор Махно не имел почти никакого отношения. Командовать отрядом гуляйпольцев он заробел – должность командира принял старший брат Махно Савелий. Сам же он пристроился при ревкоме (где состояла и Маруся Никифорова) на должность и незаметную, и неблагодарную – разбирать дела «врагов революции», которых наарестовал Богданов и которые, как скот, томились в арестантских вагонах, прицепленных к эшелону его отряда. Среди арестованных оказались провокатор Петр Шаровский и уездный комиссар Михно. Первого изобличили и подвели под расстрел, второго за либерализм выпустили. Осудить на смерть бывшего прокурора и начальника уездной милиции ревком все ж не дал: как был убежден Махно, из страха перед местной буржуазией.

На своей бумажной должности Махно превращался во вполне обычного провинциального советского уполномоченного. Какая-то власть у него была, но в то же время он кругом был зависим: от ревкома, от Богданова, от Маруси Никифоровой, от большинства, волю которого он должен был исполнять. А ему, между тем, все меньше нравились устанавливающиеся порядки. Не нравилось, прежде всего, с каким ревнивым ожесточением дрались за власть большевики и левые эсеры, которые, «разобравшись» с пленниками Богданова, начали серию новых арестов – на этот раз правых социалистов. Число узников тюрьмы опять выросло настолько, что ведать ее делами был приставлен специальный комиссар. Махно ничего изменить не мог, но бесился: «народовластие», осуществляемое через партийных чиновников, отвращало его. Не столько даже аресты меньшевиков и эсеров были отвратительны, но – тюрьма. Его первая тюрьма. Он пишет:

«У меня нередко являлось желание взорвать тюрьму, но ни одного разу не удалось достать достаточное количество динамита и пироксилина для этого. Я не раз говорил об этом левому эсеру Миргородскому и Никифоровой, но они оба испугались и старались меня завалить работой... Я брался за всякую работу, которую комитет на меня взваливал, и делал ее до конца. Но быть волом, видя, что за твоей спиной черт знает что творится, было не в моем характере... Уже теперь, – говорил я друзьям, – видно, что свободой пользуется не народ, а партии. Не партии будут служить народу, а народ – партиям. Уже теперь мы видим, что в делах народа упоминается одно лишь его имя, а вершат дела партии» (51, 138-141). Получение из Гуляй-Поля телеграммы о появлении в селе отряда Центральной рады дало Махно благовидный повод заявить о своем выходе из ревкома и вместе с отрядом убраться прочь из Александровска, чтобы начинать «подлинную революцию» в деревне.

Воочию увиденная Махно «диктатура пролетариата», осуществляемая как партийная диктатура, для народной революции явно не подходила. Что же взамен? Демократия узка, слишком добропорядочна, нетороплива, «буржуазна»: ни одной нотки сожаления по поводу разгона Учредительного собрания мы не найдем у Махно. Он видит прямое, непосредственное творение революции народом через свободные от партийных влияний Советы. На уровне Гуляй-Поля эта программа казалась вполне осуществимой. Что должен делать революционер? У Волина, позже ведавшего всей культработой в махновском Реввоенсовете, на этот счет прямо: помогать идеями, опытом (но не руководить!), работать «непосредственно в народе» (95, 175). Обаятельнейшая идея! Впрочем, надо отдать

должное, многие искренне старались приблизиться к этому идеалу. Махно, например, раза два в неделю ездил работать в сельскохозяйственную коммуну, устроенную батраками и рабочими неподалеку от Гуляй-Поля. Сама идея коммун, кстати, не из большевистского, а из народнического, анархистского, толстовского обихода (у Пильняка в романе «Голый год» синеглазый анархист Юзеф, к примеру, из таких вот коммунаров). Большевики же ее позаимствовали было на время, да потом бросили: слишком много позволяли себе добровольные коммуны самостоятельности, недостаточно партийно устремлялись в светлое будущее. Поэтому уже в двадцатые годы большинство из них придушили, а перед коллективизацией задавили последние.

Поскольку коммунам отрезалась земля и выделялась часть захваченного в усадьбах инвентаря и скота, против этой затеи выступали некоторые единоличники. Однако, пишет Махно, такое мнение «на всех съездах резко осуждалось» (51, 176). Мы не можем проверить, насколько он здесь искренен. Но, как показали дальнейшие события, коммунистические симпатии крестьян и их приверженность к анархизму в начале 1918-го, покуда не пришли немцы и не вернули старые порядки, были далеко не так крепки, как Махно хотелось бы верить. Впрочем, мы глубоко заблуждались бы, думая, что в начале 1918 года Гуляй-Поле было той «столицей анархии», а Махно ее столь же безраздельным хозяином, как это оказалось в 1919-м. Его авторитет оспаривали ораторы различных партий; в том числе как-то раз схлестнулся с ним на митинге большевик, местный уроженец, тоже кучеров сын и с Махно почти одноклассник Михаил Полонский. Через год судьба столкнула их насмерть, а пока что клеймил Нестора за анархистскую демагогию ладный матросик, что так и ходил по селу в революционной флотской форме и бескозырочке с названием черноморского крейсера – «Иоанн Златоуст». Крестьяне же, размежевав землю и поделив захваченный осенью инвентарь, к политике утратили всяческий интерес и предоставляли ораторам спорить до хрипоты.

Меж тем поспевала катастрофа Бреста. Центральная рада, как известно, подписала с немцами Брестский мир отдельно от Советской России. Довольные немцы прозвали его «хлебным миром»: по этому договору до 1 июля 1919 года Украина обязывалась поставить в голодающую Германию 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, миллион гусей, 30 тысяч живых овец и т. д. Но до июля нужно было еще дожить: немцы ведь прекрасно знали, что подписывают договор с правительством, бежавшим из своей столицы, и у них не было иллюзий относительно возможностей Центральной рады покончить с революционными беспорядками на Украине. Но зато они не сомневались в своих силах: 1 марта 1918 года Центральная рада вернулась в Киев вместе с немецкими войсками.

К концу апреля немцы и австро-венгры оккупировали всю Украину. Разрозненные большевистские, левоэсеровские и анархистские отряды пытались оказывать им сопротивление, но бывали неизменно биты и откатывались все дальше на восток. В этот отчаянный момент Махно вновь решил поддержать большевиков: в Гуляй-Поле был организован крепкий батальон из бывших регулярных солдат. Махно связался с начальником красных резервных войск Беленкевичем и предложил свои услуги в обмен на вооружение. Беленкевич, не скупясь, отгрузил шесть орудий, три тысячи винтовок, два вагона патронов и девять вагонов снарядов. Но все это так и осталось незадействованным.

В начале апреля Махно вызвал в свой штаб тогдашний командующий Южным фронтом Павел Егоров – видимо, чтобы дать ему оперативное предписание, – но в сумятице отступления Махно штаб потерял и ездил от станции к станции в поисках его следов. Тем временем в Гуляй-Поле вызрела измена. 16 апреля в село вошел отряд Центральной рады. «Вольный батальон» не оказал сопротивления и разошелся по домам. Более того, входившая в состав батальона еврейская рота помогала в аресте членов ревкома и совета, разоружила членов анархистской группы, разгромила ее помещение. С особенным чувством, как о неслыханном кощунстве, пишет Махно о том, что один из членов группы, Лев Шнейдер, участвовал в этом разгроме, топтал и рвал портреты Кропоткина и Бакунина, анархистские книги. Еще через несколько дней село было занято немцами.

Весть об измене настигла Махно на станции Цареконстантиновка. Воистину, к такому повороту событий он не был готов. С Махно случилась истерика, потом он впал в забытие и долго спал на коленях какого-то красногвардейца...

Версия #2

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 апреля 2025 11:28:47

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 16 декабря 2025 15:43:02